

М Л А Д Ш А Я И З С Е С Т Е Р

МИХАИЛ УСОВ

Ты подошел к окну — потянуло к свету, как тянется к нему все живое. Машук наполовину скрыт белесым туманом: исчезла вершина, знакомые очертания.

Повернул назад и медленно, неслышно ступая в мягких кавказских сапогах в обтяжку, отошел в глубь комнаты. От плотно закрытой двери с темнеющей замочной скважиной снова повернул к окну — от Машука почти ничего не осталось, сквозь пелену едва проглядывали нижние изгибы горы, мутно-серые пятна леса, белые заснеженные ложбины и поляны.

Слух уловил приглушенный короткий щебет и свист. Ты протянул руку к форточке, раскрыл ее — пальцы, ладонь почувствовали, как хлынул морозный поток в теплую комнату.

Задержал руку у открытой форточки — тебе приятно холодное прикосновение, от него и радостно, и тревожно, и больно, но боль не саднит, не ранит, она возникает неприметно, щемит и волнует сердце, его биением разносится с кровью по всему телу...

Перед тобой не Машук, а горы, что впервые увидел еще в младенчестве. От них вместе с сияющей белизной незримо сочился холод. Этот холод приходил не только зимой, — тогда он леденил отцовскую каменную саклю, сгонял всю семью к дымному очагу, к его жаркому пламени. И летом с последним отблеском дня холод опускался в ущелье, отнимал тепло у прогретых скал, у скудной земли, у зеленых трав.

Оттого с головы горца-осетина не сходила округлая баранья шапка, а



плотная, из валяной грубой шерсти черная бурка была ему постоянным прибежищем от непогоды. То снежная крупа забеливала ущелье, с шелестом ложилась на травы. То безжалостный град сек скалы и откосы, сек пастбища, разгонял и увечил скот.

Ущелье с гремящим потоком по его каменному, в валунах, дну, крутые склоны и сокрытые от глаз вершины были священны для тебя, Коста. Это твоя родина. Тебе дороги и солнечное тепло и холод Алагирского ущелья.

Твое тело еще с колыбели познало это тепло и этот холод. Малышом бегал к студеной речушке, плескался у самого бережка, выхватывал со дна плоские, как кукурузные чуреки, или причудливо обкатанные гольши, они — ребячье богатство. Как и альчики и казанки, безчего не поиграть с крикливыми дружками, не показать ловкости, своего умения в метании костяных бит. Под дедовской лохматой буркой пережидал секущий град пополам со снежной крупой, пронзительно стылым ливнем. Угревшись под буркой, по-мальчишески беспобудно спал...

«Фю-и-ить, вить!» — пришло из-за форточки.

Глаза твои ищут птаху — это же

жаворонок с серым хохолком. Тебе ли не знать его!

Первое что увидел — снег, порхающий и пляшущий. Одна из снежинок, за ней вторая, третья, целая стайка по-птичьи толчется у стекла, присаживается на низкий подоконник и, словно чего испугавшись, стремглав уносится за стену. И все снежинки, что дальше от дома, метнулись, понеслись, а затем, будто передумав, вильнули вниз, легко взлетели и толкутся, толкутся, как бабочки у фонаря летом.

Улыбаясь в черные усы и бороду, морща кожу у потеплевших глаз, ты глядишь на снежинки, на их затейливый хоровод.

«Фю-и-ить, вить!»

Метелица скрыла Машук, забеливает крыши и улицы, заносит скудный птичий корм на дорогах и пустырях, а жаворонок — маленький и беззащитный, не теряет голоса. Сколько задора и ликования в его коротенькой песенке! Неистоцимая, ни с чем не смиряющаяся жизнь в этом звуке.

Ты вслушиваешься в самого себя, откуда-то неясно возник новый звук, а все в тебе встрепенулось, устремилось к нему. Так, беря первый негромкий аккорд, музицировала она, Анна.

Белые тонкие пальцы на белых клавишах, став чем-то одним, легко скользили вправо-влево, переходили с октавы на октаву. Звуки, рождаясь из безмолвия, мгновение жили отдельно, каждый сам по себе; не успев замереть, возникали в другом, сливались в воздушном хороводе...

По-прежнему метелился снег, а Коста внутренним зрением видел только ее — Анну, слышал ее. Чуть подавшись вперед, вся ушла в музыку, тонкие белые руки словно незримое перед собой, что облекалось в певучий звук, в мелодию. Как же тебе дороги эти девичьи штуки, эти слегка склоненные плечи, черноволосая головка, мягкий овал подбородка, каждая черточка много лица! Ты готов бесконечно смотреть, благоговейно и трепетно единственные,

неповторимые черты, в большие черные глаза, то вдумчивые, едва мерцающие, то плещущие весельем, источающие колдовской пламень из-под близко сошедшихся черных бровей.

Как трудно сдержат себя, сковать на месте, когда все в тебе рвется к ней — юной и нежной, твоей святыне.

Тебя не могли сдержать путы изгнания, полицейский надзор в далеком захолустном Херсоне. Преодолев все, ты тайно явился на Кавказ, к ней. А здесь, в доме ее отца, в светлой комнате, заполненной звуками пианино, ты не можешь сделать два шага, отделяющие тебя от нее, такой любимой и желанной.

В этих двух шагах, как бездна, разверзлось время, годы и годы. Ты бессилён перед ними, перед семнадцатью годами, отделившими тебя от Анны. Эту разницу лет ничем не преодолеть.

Я отживаю век, ты жить лишь начинаешь

Я выбился из сил под бременем труда,

Борьбы и нищеты, ты весело срываешь

Весенние цветы... Я стар, ты молода...

Зачем мы встретились? Зачем душой разбитой

Я полюбил тебя, как друга, как сестру?

Ведь я допил бокал, а твой, едва налитый,

Стоит нетронутый на жизненном пиру.

Да, нам не по пути... Но встретившись с тобою,

Я посох и суму благословляю вновь, —

Ударю по струнам дрожащею рукою

И миру возвещу бессмертье и любовь.

Что влекло тебя к ней? Даже отвергнутый, потеряв все, ты нашел в себе силы выбраться из пучины отчаяния — чтобы по-прежнему, чтобы еще

сильнее любить ее — Анну Цаликову.

Кто, кроме тебя, Коста, может ответить?

Многое тебя связывало с семейством Цаликовых, где не только чтили твой поэтический гений, но и разделяли высокие нравственные и общественные идеалы. Не случайно глава ее священник Александр попал в опалу и был лишен церковного прихода во Владикавказе. Вынужденный переехать в Пятигорск, он и здесь не получил назначения и стал священником частной церкви.

Три его дочери — Юлиана, Елена и Анна рано потеряли мать. Каждый из осиротевшей семьи заботился об остальных. Сестры учились в гимназии, окончили высшие женские курсы.

Анюта, как звал отец свою любимицу, была младшей. Сестры выглядели разное, общим оставалось то, что они — брюнетки. Старшая, Юлиана, подомашнему Уля, являла собой полную противоположность: тяжеловатая ее фигура лишена женственности, выглядела мужеподобной. К тому же она небрежно одевалась, подстригала волосы и часто курила, что рассматривалось как вызов тогдашним нравам, возбуждало кривотолки и осуждение.

Леся с привлекательностью соединяла начитанность, большой ум. Но с наибольшей щедростью судьба отнеслась к младшей в семье. Анюта была не просто красива, — на Кавказе среди осетинок много красивых. Удивительное изящество, обаятельность исходили от нее, излучались от всей тонкой девичьей фигуры, притягивали к ней восхищенные взоры. Ничего заранее разученного, рассчитанного, фальшиво кокетливого. Вся она, юная, была воплощением женской обворожительности.

Так цветут бело-розовые яблони, нежно-белые вишни.

У Анюты был прирожденный вкус к тому, что ей к лицу, что ей по фигуре. Правда, Леся кое-когда подтрунивала над нею: «Если модно, то Анюта бог знает что на голову наденет!». Обе, а заодно и те, кто окажется в комнате, рассмеются. Анюта дурашливо вскинет на волнистые

локоны первое, что попадет под руку, и, глядишь, какой-нибудь ситцевый или кисейный лоскут становится украшением.

Ты помнишь эти милые семейные сценки, Коста. Ведь ты здесь свой, от кого не таились.

Тонкий музыкальный слух выделял младшую среди сестер. Непоседа в обычное время, она перебегала из комнаты в комнату, выскакивала в сад, на улицу. Но еще тонконогой девочкой, забыв обо всем, могла часами не оставлять пианино. Прилежно посещала уроки музыки.

А как радовалась и волновалась, когда после окончания гимназии отец разрешил ей самой выбрать пианино! Аня поехала в Ростов-на-Дону и привезла оттуда чернолаковое пианино известной немецкой фирмы «Адлер». Семь с половиной октав с клавишами слоновой кости хранили в инструменте сотни звуков, от тончайших до подобных грому.

Как ты дорожил той минутой, когда Анна вдруг, без просьб, направлялась к пианино, присаживалась к нему. Глаза, все оттенки которых ты так знал и любил, незаметно менялись, в них гасли искры смеха, мимолетных огорчений, обычных волнений дня, будничных чувств. Взор приобретал иное выражение. Мечты о чем-то несказанном, возвышенном и далеком воцарялись в нем, придавали девичьему лицу трогательно одухотворенную, неземную красоту.

Тишину всколыхивал первый аккорд. Волна звуков заполняла комнату.

Ты видел лишь ее, Анну, ее летящие белые пальцы...

Музыкальность не разнять от танца, не противопоставить одно другому. Едва научившись ходить, еще ребенком, Аня веселила и трогала сердца взрослых первыми танцами под звенящий бубен и фандыр, ладошное хлопанье.

В гимназии ее нельзя было не заметить, не выделить на вечерах. Уже тогда она вызывала к себе косые взгляды подруг. Что же говорить о том успехе, что выпадал ей на балах во Владикавказе и

Пятигорске! Не одни соплеменники, черноглазые джигиты, оспаривали право выйти в круг и, широко распластав рукава черкесок, по-орли парить вокруг стыдливо склоненной девичьей головки в шелковом белоснежном платке, с затянутым в корсет тонким станом, длинным платьем, скрывающим маленькие ножки.

Молодые и немолодые казахи офицеры, не сдержавшись, положив руки на кинжалы у тонкого ременного пояса с серебряными насечками, выносились к красавице, чей взор иногда лишь блистал из-за опущенных белых век только счастью.

Тебе, Коста, невозможно было выдержать, безучастно стоять в толпе. Сцепив пальцы на костяной ручке и ножнах кинжала, ты вылетал к танцующим.

Какое ни с чем не сравнимое торжество, подлинное счастье испытывал ты, видя лукавый блеск из-под этих век, из-за черных ресниц!

А как самозабвенно, отрешившись от всего остального, выступала Анна на театральной сцене в любительских спектаклях. Тебе не забыть драмы Островского «Гроза». Затаенную тишину зала. Скорбный, мятущийся образ Катерины, ее обреченность, страшный бег к смертному обрыву...

Каким усилием воли ты заставил себя не броситься, чтобы спасти ее: ведь то была Анна.

Судьба не всегда была к тебе злой мачехой. Разве забыть импровизированные сеансы рисования, увлеченность, с какой вчерашняя гимназистка познавала тайны живописи, законы перспективы, цвета. То карандаш, то кисть переходили из ее рук к учителю. Ты ощущал тепло ее пальцев и тебе трудно, почти невозможно вернуть карандаш или кисть Анне, ты оттягивал эту минуту своим рассказом, пояснениями, ссылками, примерами из собственной практики в Петербургской Академии художеств. Нетерпеливая в иное время, внезапно оставляющая собеседника, теперь она была внимательна, и что-то наивное,

детское исходило от ее лица с удивленно открытыми глазами, от чуть разомкнутых губ.

Ты рассказывал, твоя рука с карандашом, как с указкой, водила по листу бумаги, а глаза видели только лишь эти приоткрытые губы.

Кажется, то были лучшие, драгоценные часы твоей жизни.

С новыми сеансами Анна становилась как-то собраннее, строже, недоступнее, она и внешне и внутренне отчуждалась, замыкалась в себе. Как снег, истаяла доверчивость, падал интерес к занятиям, то, что духовно роднило и соединяло вас, учителя и ученицу.

Злая мачеха вновь брала верх в твоей судьбе, несла нескончаемое горе. Тебе чужды полуправда, беспочвенные надежды. В невысказанном отчуждении Анны ты остро чувствовал тяжкий, ничем не поправимый приговор.

И, зная о нем, ты опять сделал предложение.

Так безысходность и отчаяние толкают человека за черту жизни.

Ты выжил, Коста. Ты не мог и в мыслях допустить нечто такое, что бышло наперекор истинному чувству Анны, ее желанию, что бы посягнуло на ее девичью честь и достоинство. А твои друзья, в запальчивости, уязвленные и разгневанные, готовы были применить древний обычай умыкания, насильственный угон непокорной.

Плохо они знали тебя, Коста, твое благородство и мужское целомудрие, твой возвышенный строй души.

Благодарю тебя за искреннее слово...

Прости, прости на век!

Отвергнутый тобой,

Я посох и суму благословляю снова,

Благословляю жизнь, свободу и покой.

Благодарю тебя... Ты снова возвратила

Скитальцу бедному потерянное «я»,

Мучительным «прости» ему ты озарила

Забытую стезю разумного бытья.
Теперь настрою вновь
заброшенную
лиру,
Забуду твой напев
и незлобивый
смех,
Начну по-прежнему
я странствовать по
миру.
Молиться и любить,
любя, страдать
за
всех.

Щебет ласточек, живой и единст-
венный, встречает тебя. Сколько их вьется
над крышей и у стен, описывает круги,
присаживается у гнезд!

Ты подолгу бывал под сводами
храма, возведенного тысячу лет назад.
Время отодвигалось, терялась его
непроницаемость, и ты словно наяву
видел неподвижные темные фигуры
монахов...

Не замечая, что идешь, неслышно
приближался к фрескам, к стенной
росписи, —тогда ты видел только их,
всматривался, запоминал, в тебе
пробуждался живописец, мастер своего
дела, кто исписал не одну стену и не одну

ЗОЛОТО НАРОДУ

Коста не один раз приезжал к
родственникам в Георгиевско-
Осетинское.

Одинокое селение переселенцев-
осетин среди карачаевских аулов
приютилось у Шоана-горы, а с про-
тивоположной стороны, близко от домов
бурлила Кубань.

Тебя видели на высоком берегу то
медленно бредущим, то подолгу стоящим
у обрыва. Неукротимая, как
необъезженный конь, река яростно
вскидывала вспененные волны на
гранитные глыбы, перескакивала через
них одним махом и, несдержимая, полная
кипучих сил, рвалась из теснины.

О чем ты думал тогда, Коста? Чем
влекла тебя непокорная река? Собрав все
потoki, все ручьи воедино, превратив
каждую каплю в бойца, она бросалась на
все преграды, вставшие на ее пути. И ни
снежные лавины, ни каменные завалы,
ничто не могло ее задержать и остановить.

Привычным шагом горца ты взби-
рался на гору с причудливой вершиной,
напоминавшей черкесское седло с круто
поднятой передней лукой. На изгибе,
четко выделяясь на небесной синеве,
белело здание с округлой крышей.

Ухо настораживалось, казалось,
его сейчас достигнет далекий звон...
молитвенное пение...

колонну, каменный свод над собой.

Волшебство нетускнеющих красок,
неподвластных векам, влекло и
восхищало тебя.

Щебеча, скользнула в оконный
просвет ласточка, покружилась над
головой и, словно приглашая последовать
за нею, с веселым журчаньем метнулась в
голубое сияние.

Ты уходил дальше, то вниз, в
сумрак ущелий, то вверх, к снегам —
новые вершины влекли к себе. Где-то
здесь ты увидел сказочного джук-тура.

Бестрепетно, гордо стоит на откосе
Джук-тур круторогий в
застывших снегах,

И, весь индевея в трескучем
морозе,

Как жемчуг, горит он в багровых
лучах.

Над ним лишь короной алмазной
сверкает

В прозрачной лазури незыблемый
Шат;

У ног его в дымке Кавказ
утопает...

Чернеют утесы, и реки шуршат...

Все минуло, и вот уже не ты сам по
доброй воле, по велению сердца приехал
сюда, а тебя, безмолвного,

тяжелобольного, привезла из больницы старшая сестра Ольга.

Печален был кортеж. Неспешно вращались спицы, поскрипывали деревянные ошинованные колеса. Молчаливый возница не дернет вожжами, сутулится впереди с надвинутой на глаза шапкой. Вся в черном, с низко опущенным черным платком, не глядя по сторонам, отрешенная от всего, скорбная Ольга.

Лицо Коста, избеленное немощью, с истончившимся носом, резко оттенялось черной бородой. Густые волосы обрамляли виски и щеки, сплошь закрывали губы и подбородок. Над притухшими, словно застывшими глазами, стлались лохмы черных бровей.

Ни стопа, ни слова.

Безлюдна улица.

Подвода остановилась у одного из домов, схожего с остальными. Родственники и друзья молча понесли больного. Ни одного из них не узнал Коста, ни к кому не открылась его речь, не произнес он слова приветствия. И это непоправимое угнетало встречающих, лишало их надежд.

Каждый содрогнулся и еще сильнее стиснул зубы.

Молчание вошло в дом.

Когда позволяли силы, ты выходил из дому. Одетый в серый бешмет, заботливо застегнутый на все пуговицы сестрой Ольгой, в такого же цвета курчавой шапке, ты часами стоял во дворе, а то вдруг неспешно направлялся за ворота.

Тебя видели на улице — и даже псы не облаивали, лежа во дворах. Ты смотрел перед собой — на улицу, на дома, на реку, на гору, но чаще на землю. И когда ты видел ее, каменистую, взор твой не блуждал бесцельно, не скользил куда-то в сторону. Ты будто хотел всмотреться во что-то, скрытое под тяжелыми пластами, потаенное.

«Коста ищет», — говорили старики. И, сказав это, качали мудрыми седыми головами в лохматых шапках.

Коста ищет...

Вся твоя жизнь — поиск сквозь

тернии. И подтачиваемый зловещим недугом, с помраченным рассудком, ты прорывался через темную завесу к своей заветной, самой сокровенной мечте — видеть родные горы и народ освобожденными, счастливыми.

Опустившись на колени, ты одними руками, без лопаты и лома, взрывал пласт за пластом. По горсти, по щепотке. Отбрасывал камни. И рыл... рыл...

Из-под ногтей, из пальцев капали капли крови.

Одна за одной, одна за одной. Кропили каменистую землю.

А ты неистово скреб ее пальцами, отрывал кусочками — все у тебя было подчинено тому, чтобы проникнуть в земные глубины. Там замуровано, придавлено людское богатство, счастье.

Не смея оставаться безучастными свидетелями, стоять поодаль, подходили, опираясь на палки, самые уважаемые всеми старики. Становились рядом. Смотрели на Коста, на развороченный его руками тяжелый пласт.

«Что ты роешь, Коста? — почтительно обращались к нему. — Что ищешь?»

Не глянув в их сторону, чтобы не прерывать своего труда, Коста выдохнул два слова:

«Золото народу!»

Нет Коста. Нет стариков, кто стоял с ним у разрытой каменистой земли.

Но живут в селении у Шоана-горы и передаются от отцов сыновьям предания о поэте, кто мечтал видеть народ свободным и счастливым, кто разрывал, кто взламывал преграды, стоящие на этом путчи.

На снимке:

Анюта — Анна Александровна Цаликова — в одном из любительских спектаклей.

Из семейного альбома Ю. В. Ивановой (Цаликовой), проживающей в Пятигорске, улица Октябрьская,

дом 46.